

тя б так, чтобы потом не очень было стыдно себя перечитывать. Будем помнить, что рано или поздно, с каждого спросится, где он был и что делал в великой, в наши дни беспримерно обострившейся, но никогда не прекращавшейся

борьбе. «Счастлив, кто посетил сей мир...». Есть в этих тысячу раз цитировавшихся строках какая-то таинственная правда: надо только понять, что счастье, которое обычно кажется нам наградой, иногда бывает и испытанием.

ИВ. БУНИН

МИСТРАЛЬ

«Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.»

«Вот Ты дал мне дни как пяди, и век мой как ничто пред Тобою.»

Век мой. Господи, ничто не только пред Тобою, но и пред мною самим...

Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь: «Кажется, скоро рассвет...» Но затем опять видишь ту же черную тьму, слышишь, как вольно несетя мистраль за стенами и ставнями, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул еще ночные, полночные. Привычно протянув руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы: час самый мертвый. От света все вокруг стало проще, шум и гул отделились от дома, хотя мчится мистраль за стенами все так же круто, жадно, то и дело разрастаясь и нажимая на них с дикой силой. И спокойно стоит освещенный куб спальни, безучастно блестит стекло зеркала против меня, над камином. В зеркало углубленно уходит вторая спальня, что во всем подобна первой, будучи только ниже и меньше ее; там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку — и опять пред глазами лишь густая тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

«Ты взошел на корабль, свершил плавание, достиг гавани: пора сходить.»

Значит, было будто бы время, когда я «взошел на корабль»? Юный, сильный, невинный ни о какой гавани не думающий? Где же это время? Только моя мысль о нем, кое-какие чувства и видения? Молодость, вступление в общую людскую жизнь, начало моего житейского поприща... «Ничтожна жизнь каждого. Ничтожен каждый край земли, где ты живешь... Немного уже осталось тебе. Живи как на горе. Как с горы обозревай земное: сборища, похо-

ды, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерти...» Буря летит однообразно-стремительно, потом растет, растет — и неистово обрушивается на дом, на сад, точно очнувшись от того полусна, в котором неслась до сих пор... И я мысленно вижу Прованс, по которому мчится она с этой жаждой сокрушения всего человеческого, временного, вижу весь этот древний край, сейчас спящий, пустой, со всеми его селениями, горами и долинами, со смутно белеющими в лихорадочном блеске звезд дорогами — все теми же, что и в те позабытые римские дни, когда миром правил тот, кто в какой-то «стране Квадов», в часы своего ночного одиночества, писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней, стран и веков... В глухих провансальских деревнях, первобытно прекрасных в своей дикости, пахнущих как бы пастушеским дымом, въевшимся в камень и глину их жилищ и счагов, в этих деревнях говорят, что мул есть создание вещее, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир, и что до рассвета стоит он в такие ночи в своем темном, холодном, насквозь продуваемом стойле с открытыми глазами, ни на миг не ослабляя слуха и внимания к «работе» мистрала: он, верно, тоже видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространстве тех, римских времен, кажущихся мне и моими собственными...

Снова прихожу в себя в той же тьме, но в неожиданном глубоком спокойствии: всюду немота, молчание, бури точно не было. Я встаю, неслышно спускаюсь в прихожую, отворяю наружную дверь: свежесть ночного воздуха, площадка, пальмы, сад по уступам внизу — и уже неподвижное в белой звездной россыпи небо... Всюду предрассветное ничто. Близь меня, слева, над темной лесистой горой, есть уже что-то затаенное, обещающее, чуть светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую высь. Но везде еще ночь. Округлые, от верушки во все стороны раскинутые вайи пальм мертво висят длинными черными клешнями

Над всем садом, над его скромно сереющими оливами, поднимаются местами темнозеленые громады широковетвистых сосен и кедров. Впереди, в далекой глубине за ними — смутное, сумрачно-печальное доно ночи над чуть видной долиной; еще дальше — сонная, холодная туманность: белесо застывшее дыхание моря. Справа от него тучами означаются в небе вершины Эстрэля и Мор. Слева горбом темнеет в горизонте Антибский мыс. И таинственно и мерно, через длительно-равные промежутки, скидывается, взглядывает там, на горбе, огонь

маяка — скидывается, взглядывает и падает — зоркий, бессонный, предостерегающий...

Но вот он вдруг гаснет: небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное. И где-то внизу подо мной, на какой-то ферме, кричит первый рассветный петух: еще сквозь сон, несознательно, но уже задирчиво, с напрягающимся хриплым клекотом двух разных голосов...

Еще одно мое утро на земле.

Приморские Альпы.
1944.

К. МОЧУЛЬСКИЙ

МАТЬ МАРИЯ

Жизнь монахини Марии разрезана на две части Октябрьской революцией. До нее, в России, — Елизавета Юрьевна Пиленко, а впоследствии Кузмина-Караваева, — молодая поэтесса, автор сборника стихов «Скифские черепки», друг Александра Блока, желанный гость на «башне» Вячеслава Иванова, человек, близкий к кругам «Аполлона», член «Цеха поэтов», приятельница Гумилева, Городецкого, Ахматовой. Она живет в раскаленном воздухе последних лет русского символизма; в ее стихах — томление, бунт, предчувствия конца, приступы отчаяния. Все поставлено под знак гибели и жажды подвига. Предчувствия ее не обманули: ей была дана судьба трагическая и героическая.

После революции и тяжелых личных испытаний, раскрывается подлинная природа ее «мятежного духа», — религиозная. После пострига, монахиня Мария отдается служению людям: больницы, тюрьмы, дома умалишенных, подвалы, притоны, трущобы, бараки парижской «зоны» знают ее, ее старенькую, заплатанную рясу, стоптанные башмаки, круглое румяное лицо в дырявом апостольнике. Ее руками строится церковь Покрова Божией Матери на улице Лурмель и образуется общество социальной помощи «Православное дело». Во время немецкой оккупации мать Мария с неслышанным бесстрашием защищает всех преследуемых Гестапо, обслуживает лагеря, прячет евреев. В 1943 году немцы ее, наконец, арестовывают и заключают в страшный Равенсбрук. Там два года она ведет миссионерскую работу среди заключенных. В марте 1945 года немцы переводят ее в другой лагерь. Следы ее теряются.

В 1937 году вышел сборник стихов монахини Марии (Монахиня Мария. Стихи. Петрополис.

1937). Стихи эти — исповедь и молитва: правдивое и бесстрашное свидетельство души о мире и о себе самой. Почти на каждой странице — обращение к Богу, торжественное и страшное «Ты». Поэту дана «зрячесть», перед ним обнажен темный мир, лежащий во зле и грехе. Как Иов, душа ведет тяжбу с Богом, взывает к Нему: «Доколе, Господи?»

Господи, когда же выбирают муку?

Выбрала б, быть может, озеро в горах,

А не вьюгу, голод, смертную разлуку,

Вечный труд кровавый и кровавый страх.

Но что страх и труд перед пыткой жалости? «Терпкой жалостью», «жалостью запойной» к «блудницам, разбойникам, мытарям», к обреченным, погибающим в «разврате», нужде и злобе», «среди заплеванных, проклятых мест», материнской жалостью ко всем нищим духом, — навсегда пронзено сердце поэта:

О, Господи, не дай еще блуждать

Им по путям, где смерть многообразна.

Ты дал мне право — говорю, как мать.

И на себя приемлю их соблазны.

Что же будет с «меньшей братией», «в язвах, в пьянстве, в нищете, в заботе»? Как предстанут на Суд эти «беспризорные Ваньки», эти «братья, братья, разбойники, пьяницы»? Как войдут они в Царствие Небесное в «рубцах окровавленных»? Вот они умирают нераскаянные на больничных койках, в городских трущобах, в тюрьмах, под мостами — и как спасти их? Но мать останется с ними и до конца будет молиться, умолять, взывать, настаивать.